

ЛЕВ РАЗУМОВСКИЙ НАС ВРЕМЯ УЧИЛО...

Удивительно правдивая книга о войне.

Автобиографические очерки о блокаде Ленинграда и воспоминания об армейской службе талантливого скульптора, чьи работы, как писал о них Булат Окуджава «снимают излишнюю победоносную возбужденность»

СЕРИЯ «ФРОНТОВОЙ ДНЕВНИК»



Лев Самсонович Разумовский

Нас время учило...

Серия «Фронтовой дневник (АСТ)»

*Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=41295789
Нас время учило...: АСТ; Москва; 2019
ISBN 978-5-17-110267-8*

Аннотация

«Нас время учило...» – удивительно искренние воспоминания о войне, написанные скульптором Львом Разумовским. Попав на фронт семнадцатилетним мальчишкой, в июле 1944 года он был ранен и потерял руку. Однако случившаяся трагедия не сломила этого сильного духом человека – он не только научился обходиться без посторонней помощи в быту, но и продолжил заниматься творчеством. Сегодня его скульптуры находятся в лучших музеях и частных коллекциях России, Финляндии, Швеции, Великобритании, Канады, США, а игрушки, созданные по его эскизам, знают и любят многие поколения детей. Все эпизоды этой книги – подлинные, а фамилии настоящие. Читатель проходит военный путь Льва Разумовского, почти физически ощущая атмосферу в казарме, узнает, что чувствует человек, попавший под минометный обстрел в болоте. Правда никогда не дается легко, но именно эти подробности жизни

военных лет делают «Нас время учило...» одной из самых правдивых книг о войне, свободных от табуированных тем.

Содержание

Об авторе	6
Лев Самсонович Разумовский (1926–2006)	6
Незнайка на войне	9
О книге «Нас время учило...»	13
Дети блокады	15
Часть первая	15
Конец ознакомительного фрагмента.	69

Лев Самсонович Разумовский Нас время учило...

© Лев Разумовский, наследники, текст, 2019

© Лев Разумовский, наследники, иллюстрации, 2019

© ООО «Издательство АСТ», 2019

*** * ***

Об авторе

Лев Самсонович Разумовский (1926–2006)

Родился в Ленинграде. До войны занимался в кружке лепки Ленинградского Дворца пионеров.

После блокадной зимы летом 1942 г. эвакуировался вместе с детским домом в Горьковскую область, откуда в возрасте 17 лет был призван в армию. В боях за освобождение Петрозаводска в июле 1944 г. был ранен, потерял руку. Демобилизован в апреле 1945 г.

В 1945 г. поступил в Ленинградское художественно-промышленное училище им. В.И. Мухомовой на факультет скульптуры (руководитель курса Р.К. Таурит), окончил его в 1953 г. Дипломная работа «Летчик» (бронза) установлена в московском Парке Победы.

Член Союза Художников РФ с 1957 г. Участник более 70 выставок, включая три персональные (1980, 1997, 1998), две международные (Лейпциг-1952, Пловдив-1952) и три все-российские.

Работы Л.С. Разумовского находятся в музеях и частных

коллекциях России, Финляндии, Швеции, Великобритании, Венгрии, Германии, Голландии, Дании, Израиля, Канады, США. Пять работ находятся в Русском музее.

В скульптуре работал в разных жанрах: памятники, садовая скульптура, портреты, композиции, мелкая пластика, медали. Соответственно своему характеру, создал много юмористических и лирических композиций, но главными темами всей жизни были война и Холокост.

Профессиональный художник детской игрушки: создал 120 моделей игрушек, из них 80 моделей выпускались массовым тиражом фабриками Ленинграда и Москвы, в том числе любимые многими поколениями детей Карлсон, доктор Айболит, Тянитолкай, обезьянки, клоуны. Автор трех комплектов солдатиков: «Революционные матросы», «Ледовое побоище» и «Куликовская битва».

В 1950–1960-е годы работал по договору на Ленинградском опытном керамическом заводе. Создал более 15 авторских образцов для массового тиражирования керамической настольной скульптуры: серия «Малыши» (дети и звери), варианты композиции «Игра» (мать с ребенком, пантера с детенышем, тигрица с тигренком).

Параллельно со скульптурой занимался живописью, акварелью, рисунком.

Книга «Нас время учило...» была издана журналом «Звезда» в 2016 г. Ранее документальные повести публиковались в журнальном варианте в журналах «Нева»: «Нас вре-

мя учило» (1995, № 11 и 12); «Дети блокады» (1999, № 1) и «Звезда» (2014, № 12).

Также опубликованы воспоминания об ушедших друзьях-скульпторах: «Памяти Володи Татаровича» («Крещатик», 2002, № 1) и «Паренек из Великих Лук» («Нева», 2004, № 9).

Лев Разумовский – автор более ста коротких рассказов, часть из которых собрана в домашнем издании под названием «Моя коллекция».

Лев Самсонович был одним из собирателей и редакторов воспоминаний евреев-фронтовиков, вошедших в двухтомник «Книга живых» (Издательство «Акрополь», 1995, издательство «Журнал «Нева»», 2004).

С работами и текстами Льва Разумовского можно познакомиться на его официальном сайте:

<http://lev-razumovsky.org>

Незнайка на войне

Не будь эта книга так хорошо написана – так искусно безыскусно, – читать ее было бы тяжело, а все равно – надо.

Лев Разумовский рассказывает о вещах невеселых – и о некрасивых – и даже об отвратительных. И в том числе о таких, про которые почти ничего никому неизвестно: потому что до него почти никто не решился рассказать.

Люди с похожим опытом большей частью погибли на войне. А кто уцелел – молчал, чтобы не сгинуть в лагере.

Мы – их дети – помним это угрюмое молчание фронтовиков.

Оттепель развязала кое-кому память. Оттепель и неотступный гнев на лживую послевоенную «военную» литературу.

Огромная – до неба и во весь горизонт – стена вранья окружила войну. (Прочная до сих пор, разве что поросла мхом.)

Большие писатели проделали в ней большие проломы. Виктор Астафьев, например. Василь Быков.

А Лев Разумовский проделал пролом небольшой. Но заглядывать в него страшно. И видно – очень далеко. (Хотя после войны он не в писатели пошел, а, как и мечтал, – в скульпторы, попутно стал игрушечных дел мастером, – но вот же и литературный дар в нем постоянно и скрытно горел; быва-

ют такие люди.)

История очень простая. Жил на свете счастливый советский мальчик.

Он вырос в семье, где все любили друг друга. В отдельной квартире. (Повезло!) В огромном городе с прекрасными зданиями. (Повезло!) В счастливой, в счастливой, в счастливой, – утром говорило ему радио, днем повторяла школа, вечером – кинофильм или библиотечная книга (бессовестного писателя Павленко или безумного писателя Гайдара): счастливеец! ты живешь в счастливой стране.

И он действительно был счастлив. И очень любил свою счастливую родину. И, когда она оказалась в опасности, пошел сражаться за нее. Ежеминутно рискуя жизнью. Готовый в любой момент отдать эту свою жизнь – лишь бы только родина победила и снова была счастлива.

Родина же на войне при каждом удобном случае плевала ему в лицо. Под предлогом, что он еврей. Но на самом деле – именно за то, что он был счастливый, городской, советский, верил книгам и кинофильмам. И совершенно не понимал господствующей – тюремной – этики.

На войне Лев Разумовский с изумлением убедился, что в Советском Союзе маловато советских людей. Это была глубоко несчастная страна, атмосфера которой, отравленная террором, была пропитана равнодушной ненавистью всех ко всем. Скажем, дети первых колхозников ненавидели детей первых интеллигентов. (И случилось так, что он оказался

в абсолютном меньшинстве, равном абсолютному одиночеству.)

А была такая – даже не прослойка – пленка: сотня-другая тысяч людей 1923–1926 гг. р. Не выдумал же неумный писатель Фадеев молодогвардейцев. Они существовали, у них был символ веры – цитата из одного рассказа для детей, написанного в 1939 году:

«Что такое счастье – это каждый понимал по-своему. Но все вместе люди знали и понимали, что надо честно жить, много трудиться и крепко любить и беречь эту огромную счастливую землю, которая зовется Советской страной».

В символе веры было две лжи. Не все из идеалистов – из энтузиастов – успели это понять прежде, чем пропали.

Лев Разумовский не пропал. На войне он потерял, кроме иллюзий, только руку, не жизнь.

И вернулся в счастье. Которое, как он понял раз и навсегда, бывает исключительно в любимой семье и в любимой работе, больше нигде.

Кстати: заметили ли вы, что это слово – счастье – за полстолетия фактически выпало из речевого обихода? Как и некоторые другие: справедливость, например, или милосердие, или свобода. И – последнее из всех, потерявшее смысл прямо на наших глазах, – слово «правда».

Мышка бежала, хвостиком махнула, словечко упало и разбилось, смысл вытек, осколки золоченой скорлупы рас-

терлись в пыль.

Возможно, Лев Самсонович был самым счастливым человеком из тех, кого я встретил в жизни. Потому что его все любили. Потому что нельзя было его не любить. По-моему – хоть я, конечно, и не особенно в этом разбираюсь, – он воплощал мечту каждой женщины. (А женщины знают, о ком мечтать.) Умен, добр, бесстрашен, талантлив. А еще в нем была черта, которую не знаю, как назвать, кроме как чистотой. (Читая эту книжку, слушая звучащий в ней голос, вы поймете.)

Мы с ним, собственно, поэтому и не подружились. Он был мне не ровня. Как металлический кувшин – глиняному. Я его стеснялся. Он был настоящий. А я – унылый циник, исковерканный безнадегой Застоя.

Но я им восхищался. И как же я рад, что дожил до этой книжки. А как он был бы рад увидеть ее. Пусть правда в нашей стране обесценилась. Для настоящих людей она все равно дороже всего, даже своей страшной себестоимости. Потому что человеческий ум без нее умирает от удушья.

Самуил Лурье, 22 января 2014

О книге «Нас время учило...»

У этой книги – запах абсолютной правды. Как только началась эта дорога семнадцатилетнего человека на войну – так сразу, с неминуемой какой-то естественностью, всплыла передо мной шаламовская Колыма. Когда совершенно не думаешь о литературе и лишь потом вспоминаешь о ней – но лишь как о ковше, которым автор зачерпнул из живой дымящейся жизни и донес до меня ее, не расплескав и не разбавив: пей, брат.

Да не подавись, добавлю я, а постарайся все же переварить – потому что это действительно так оно и было и пережито под постоянным прицелом близкой смерти: от пули, от ножа, от сапога.

Ну и на что мне эта правда?

Ну, мало ли... например, чтоб отличать от вранья.

Я благодарен всем, кто причастен к выпуску этой книги. Она, простите за банальность, безусловно найдет своего читателя, и это почетная обязанность причастных – помочь ей перестать быть просто рукописью, пусть даже опубликованной в толстом журнале. Эта книга нужна читателям всех поколений.

Юлий Ким, 24 ноября 2015

Дети блокады

*Светлой памяти моей сестры –
Мирры Самсоновны Разумовской
посвящаю*

Часть первая Семья

До войны наша семья жила на Третьей Красноармейской в старом четырехэтажном доме, в квартире, снятой для мамы дедом еще в 1915 году – году маминой и папиной свадьбы.

Окна квартиры смотрели на юг, солнце било в них все лето, наполняя комнаты зноем, и множество мух летело с находившейся во дворе помойки. После революции дом не ремонтировался, и штукатурка на стенах местами облупилась, обнажив бурый кирпич. Панель у дома состояла из выщербленных плит, а проезжая часть была вымощена крупным булыжником, по которому с грохотом проносились телеги с лошадьми. Этот грохот создавали железные обода на колесах, светлые от постоянного трения. Были и особые, шикарные телеги с резиновыми шинами и высоким сиденьем-сундуком для возчика. Они двигались относительно бесшумно

и вызывали у нас, мальчишек, особое уважение. Лошади-тяжеловесы с мохнатыми щетками у копыт были украшены рядами желтых круглых латунных блях на сбруях.

К середине улицы булыжник сходиллся под наклоном, образуя скат для дождевой воды.

Напротив дома за дощатым забором помещался склад утильсырья, и туда часто съезжались подводы с разным хламом.

Я любил торчать у окон и наблюдать жизнь улицы. Особое удовольствие доставляли мне выпивки возчиков и последующие частые драки.

Выпивали возчики смачно. Достав из сундучка светлую бутылку, они аккуратно распечатывали ее и, отмерив темным корявым пальцем треть содержимого, запрокидывали в рот и с бульканьем выпивали свою долю. Затем передавали другому.

Буханка хлеба, зеленый лук и вобла были уже разложены на передке телеги. Хлеб разламывали на большие куски и отправляли в рот вместе с перьями зеленого лука; воблу же разламывали на мелкие кусочки, предварительно ударив ее о голенища грязных сапог, и медленно со вкусом пережевывали и сосали.

Выпив и закусив, возчики разбирали вожжи, подстегивали лошадей, которые с места срывались рысью к Забалканскому (Московскому) проспекту, и улица наполнялась невообразимым шумом.

Вход во двор ограничивали две покосившиеся гранитные тумбы, а над воротами висел гипсовый барельеф со знаком Осовиахима, который я любил разглядывать. Винтовка, перекрещенная пропеллером, в обрамлении листьев и лозунга озадачивала, что бы все это значило и как это сделано?

Вход во двор был переходом от света к мраку. Двор-колодец, куда никогда не заглядывало солнце, узкий и грязный, был заставлен поленницами дров, между которыми мы, мальчишки, играли.

Рядом с домом, впритык к нему возвышалась громада Института гражданских инженеров, переименованного потом в Ленинградский инженерно-строительный институт (ЛИСИ).

ЛИСИ всегда строился, и все детство перед моими глазами торчали деревянные леса, начинавшиеся за дощатым забором. Оттуда постоянно слышались стук молотков и скрежет пил, оттуда всегда летела пыль, оттуда же раздавался громкий звон, когда сторож бил молотком по подвешенной рельсе, возвещая о часе обеда или конце работы.

Нас, мальчишек, стройка притягивала постоянно. За забор лазить запрещалось, и именно поэтому мы ежедневно лазили туда и бегали по скрипучим рельсам. Самое же большое удовольствие и даже долг каждого мальчишки, обязанного доказать, что он не трус, заключались в том, чтобы прокрасться, минуя сторожа, к рельсине, бабахнуть по ней камнем и мчаться стрелой назад, через забор, к дому.

Были и другие уличные игры: лапта, маялка, пристенок, футбол, а также категорически запрещенные катания на перилах.

Особым шиком при таких катаниях считалось умение подняться на четвертый этаж по приступочкам ступеней, с другой стороны перил, со стороны лестничного проема, цепляясь за металлическую ограду и с замираньем сердца поглядывая вниз.

Зато каким удовольствием было оседлать гладкие блестящие перила в конце пути и лихо скатиться оттуда вниз, до самого первого этажа!

Панель была нашим клубом, местом встреч и ристалищем, где по неписаному мальчишечьему закону устанавливался железный табель о рангах – кто сильнее. Самым сильным мальчишкой нашего дома был высокий жилистый чернявый Васька Медведев, один из членов многочисленной семьи Медведевых. Свое звание первого он нес с каким-то внутренним благородством – не злоупотребляя силой и не обижая младших. Отец его Виктор Медведев был безоговорочно признан мальчишками самым сильным мужчиной дома. Это мнение о себе он завоевал беспробудным пьянством, частыми драками во дворе, в которых зверел и мог заколотить противника насмерть, если бы из соседних квартир не сбегались мужики и не разнимали дерущихся. Дома он бил жену и шестерых детей, которые при его появлении, как черные тараканы, быстро разбегались и прятались. Жильцы из-

бегали встреч с ним, когда он возвращался домой во хмелю с налитыми кровью черными глазищами и кулаками, глубоко упрятанными в карманы.

На первом этаже нашей «парадной» лестницы жила многочисленная семья Рагозиных. Михаил Рагозин, юркий мужичишка с темными усиками и бегающими глазками, был дворником нашего дома. Жена его Вера, скандальная толстая баба, вечно торчала в окошке и не упускала случая вмешаться в жизнь улицы, поднимая крик, и для установления справедливости оскорбляла всех направо и налево. Их сын Толька, мой сверстник, известный двору под кличкой «Карабзда», учился писать, выводя на заборе ЛИСИ матерные слова, и каждый раз спрашивал меня, как написать ту или иную букву. Таким образом мы учились вместе: он грамоте, а я русскому фольклору. Михаил Рагозин не стоил бы упоминания, если бы я, много лет спустя, читая «Собачье сердце» Булгакова, отчетливо и однозначно не узнал в Шарикове нашего дворника с его хамством и одновременно угодливостью.

На втором этаже в квартире № 4 жил мой приятель и ровесник Игорь Романов, с которым мы часто вместе играли. В дальнейшем, уже перед войной, он стал задираться, оспаривая мое законное пятое место в мальчишечьей иерархии. Все предыдущие годы я считался сильнее его. Но он подрос, окреп и бросил мне вызов, предложив «стыкнуться». Вызов я принял и в довольно жестокой драке одержал моральную

победу. На деле он оказался сильнее и накомстил мне больше, чем я ему, но в конце драки заревел, и мальчишечья братия дружно присудила победу мне. Вернувшись домой с рваным рукавом и красной горячей физиономией, я сунул голову под кран. Мама забежала около меня с полотенцами, йодом и примочками, а папа, оказавшийся по случаю воскресенья дома, посмеивался и, казалось, был очень доволен случившимся.

После этого попрос и стал задираться Колька Яблоков, крепкий хулиганистый мальчишка. Но по рангу Колька был даже ниже Игоря, поэтому, после того, как я резко оттолкнул его и предложил «стычку», он отступил, и драки не получилось.

Оба они умерли от голода зимой сорок первого года. И Игорь, и Колька, и многие другие ребята нашего дома, мои приятели и неприятели, с которыми мы вместе лазили по лесам, гоняли в футбол, воевали с мальчишками из других домов или загорали на крыше нашего дома...

На нашем третьем этаже в квартире № 5 жила семья Ивановых. Мать Мария Ивановна, маленькая, забитая мужем и жизнью женщина, работала где-то на заводе. Отец, дядя Петя, инвалид, грузный, всегда пьяноватый, с носом цвета молодой свеклы, нигде не работал, но подрабатывал себе на хлеб и водку тем, что играл на свадьбах на гармонии обрубками пальцев. Там его кормили, поили и давали с собой остатки еды, которые моментально исчезали в пяти голод-

ных ртах. Две дочери, девицы двадцати и восемнадцати лет, и старший сын Вовка кормились самостоятельно, а Женька, Лилька и младший Витька питались неизвестно чем, где и когда. Однажды, когда я вышел утром на улицу, Вовка с друзьями окружили меня.

– Сейчас проверим, – сказал Вовка. – А ну повтори: на горе Арарат растет крупный виноград.

Я четко повторил фразу, недоумевая, зачем им это понадобилось.

– Надо же, – покачал головой Вовка, – все чисто!

Их квартира была убогой, темной, с окнами во двор. Старые, накрытые тряпьем топчаны, дощатый стол, несколько поломанных табуреток, железная круглая облупившаяся печка. Нищета била в глаза. Дети – худые и голодные, но, несмотря на это, доброжелательные и веселые. Моя мама шефствовала над этой семьей: часто дарила Марии Ивановне какие-то вещи, из которых мы вырастали, давала кастрюльку супа или еще что-нибудь съестное.

Женька был моим другом. Он часто приходил к нам. Мы вместе играли, вместе носились по Польскому саду, вместе ходили на «Чапаева», вместе обедали или ужинали, когда он бывал у нас. Женька был моим самым внимательным и преданным слушателем, когда я выносил на улицу детские книжки и читал их ребятам.

У Ивановых было одно богатство, которое они очень, я бы сказал, благоговейно берегли, – дореволюционные стеклян-

ные елочные игрушки. На Новый год, когда в доме появлялась елка, из каких-то тайников извлекался заветный ящик с тщательно упакованными и переложенными ватой игрушками, и наступал торжественный момент – украшение елки. Ни у кого из наших знакомых я не видел таких нарядных сверкающих шаров, гирлянд, фонариков и бус!

Вся семья Ивановых погибла в блокаду. Все в разное время. К весне квартира оказалась пустой.

Рядом с нами на площадке в квартире № 8 жили Липшицы, наши друзья: сестры Лена, Поля и Женя, их брат Генрих, врач, и их мать, тетя Ревечка. Сестры, кроме Поли, были бездетные. Меня там любили и баловали. Тетя Ревечка неизменно ставила передо мной чашку с бульоном и белые сухарики, а сестры кормили конфетами и забавляли, каждая на свой лад. Поля осталась хромой из-за перенесенного в детстве полиомиелита. Однако это не помешало ей работать заведующей аптекой и выйти замуж за своего коллегу Якова Бенедиктовича Лозановского, грузного лысого человека с низким хриплым голосом и устрашающими черными бровями. Я его не любил и боялся, – он был строг и резок. Во время блокады этот неприветливый, суровый человек сыграл большую, а может быть, и решающую роль в спасении папы и меня от голодной смерти.

На четвертом этаже, над нами жил Михаил Грюнбаум с женой и взрослой дочерью. Грюнбаум, крупный и дородный мужчина, был всегда богато одет, держался надменно

и дважды в день выгуливал Рекса, огромную немецкую овчарку. Иногда с Рексом гуляла толстая Люська, дочь Грюнбаума, которую мы, мальчишки, дружно ненавидели за ее презрение к нам и унаследованную от отца надменность. Зато мы любили Рекса и гордились им – самой сильной собакой на нашей улице. Мальчишки звали Люську и ее мать «немками».

Рядом с ними на площадке жил профессор Яковкин с женой Верой Яковлевной и дочерью Наташей, высокой темноволосой и застенчивой девушкой. Однажды Вера Яковлевна пригласила нас к себе, и Наташа неожиданно подарила мне чудесную игрушечную лошадь на качалке, огромную, с большими красивыми стеклянными глазами, с хвостом из настоящего конского волоса и полной сбруей с металлическими стремянами. Сколько радости принесла мне эта лошадь, когда я часами в упоении скакал на ней, поражая толпы врагов – белых буржуев! К тому времени я уже бегло читал, и любимой книгой была подаренная мамой «Военная тайна» Гайдара. Поэтому боевой конь и острая шашка были мне в ту пору совершенно необходимы, а отваги и патриотизма было у меня хоть отбавляй.

Двери нашей квартиры снаружи были окрашены коричневой масляной краской, на которой с правой стороны, примерно на уровне роста Карабзды, было довольно отчетливо процарапано гвоздем загадочное слово «жит». Двери украшал голубой металлический ящик для почты, а слева от него

круглела розетка старого звонка с надписью «Прошу повернуть». Квартира начиналась с обширной передней, откуда вели три двери: одна в спальню, другая в столовую, а третья в длинный коридор, заканчивавшийся узкой кухней с большой чугунной плитой, грубым некрашеным кухонным столом, который моя няня Ксения часто скоблила большим ножом, и табуретками с вырезанными в них полукруглыми дырками. В кухне же стоял большой сундук – собственность Ксени. Над ним висела икона Спасителя.

Спальня была квадратной солнечной комнатой с широкой нишей в торце и большой белой кафельной печью. Посередине, головами в нишу, стояли две широкие кровати с никелированными спинками – на них спали папа и мама. Между окнами – затейливый трельяж с тремя маленькими фарфоровыми бюстниками писателей на углах. Его когда-то собственноручно сделал дедушка Макс, мамин отец, – легенда нашей семьи. На стенке, смежной со столовой, висела картина работы деда: хвойный лес, дорожка, по которой медленно бредет пожилая пара. Белая двустворчатая дверь вела в столовую, где под большой люстрой со стеклянным матовым абажуром стоял крытый серой тканой скатертью с вышитыми шелком розами большой обеденный стол, а вокруг него тяжелые дубовые стулья с темно-зелеными кожаными спинками, декорированными круглыми латунными гвоздиками-кнопками. Вся мебель в столовой была делом рук деда, который при двух основных специальностях – врача и инже-

нера – был еще художником и столяром-краснодеревцем.

Стенку напротив буфета занимала большая картина «Сусанна и старцы», тщательно скопированная дедом с работы неизвестного автора. Под ней помещалось пианино с двумя бронзовыми подсвечниками, а справа от него висел великолепный портрет Шаляпина в роли Бориса Годунова кисти художника Харитонов. Этот портрет всегда зачаровывал меня богатством цвета, смелым мазком, светом, и в дальнейшем, сравнивая его с репинскими портретами в Русском музее, я убеждался, что наш Харитонов не хуже. К сожалению, уже после войны, в минуту жизни трудную, мы с мамой продали его за бесценок Театральному музею.

Третьей комнатой была детская, где мы играли и устраивали домашние спектакли. В моей памяти она почти не сохранилась, так как вскоре после моего рождения была разделена для подросших Мирры и Лили, моих сестер. Эти комнаты так и просуществовали до шестьдесят девятого года, когда нашему дому пришел конец – он был снесен, и на его месте вырос новый корпус ЛИСИ.

Из кухни черный ход вел на лестницу во двор. Там хранились дрова, всякая рухлядь и было грязно, пыльно и темно.

Детская память – цепкая. Я помню наш первый телефон – удивительное сооружение, прикрепленное к стене фигурно вырезанной светло-коричневой доской с деревянным ящичком посередине, с двумя черными металлическими кнопками «А» и «Б», с двумя бронзовыми чашками-звонками. Для

того чтобы позвонить, мы снимали черную трубку с круглым наушником и раструбом для речи и ждали ответа «барыш-ни». Потом нужно было сказать: – Барышня, дайте мне телефон номер такой-то, – и ждать ответа.

В дальнейшем, когда появились первые АТС, наш старый деревянный телефон заменили пластмассовым с крутящимся диском. Но мне жаль было расставаться со старым – он уходил из дома навсегда. В те годы телефон был большой редкостью. В доме их было всего два или три. Поэтому соседи часто навевались к нам звонить к скрытому неудовольствию папы, который по характеру был строг и нелюдим, в отличие от всегда радушной и общительной мамы, предоставляющей возможность звонить всем.

Двери в квартире хлопали постоянно, в ней всегда было полно народа. Приходили Миррины друзья, студентки Герценовского института, Лилины подруги.

Когда я подрос, начали валом валить мои школьные товарищи. Всех кормили и поили, иногда у нас оставались ночевать. И вся эта кутерьма держалась на неистребимой потребности мамы общаться с людьми, которой она гордилась: «Что-что, а у меня талант поговорить. Люди раскрывают мне душу». Талант действительно был. К маме постоянно приходили соседи. За солью, за спичками, за деньгами в долг, но в основном за советом, за улыбкой, за добром. И каждый получал свое. Одна старушка как-то сказала маме: «Вот про вас нехорошее говорят, будто вы евреи. А какая же ты еврей-

ка? Ты же христовый человек!».

Несмотря на внешнюю, оставшуюся с дореволюционных времен парадность и кажущееся богатство нашей квартиры, которое многократно увеличивалось в воображении соседствующих с нами семей, мы жили очень скромно. В доме считалась каждая копейка. Папа работал один на шестерых. Несмотря на то, что он был крупным специалистом в своей области (проектирование водопровода и канализации), зарплата его была всегда невысока и концы с концами едва сходились. Ежегодные займы на одну или полторы зарплаты еще больше ужесточали наш бюджет. Папа постоянно брал дополнительную работу, и когда все укладывались спать, раздвигал обеденный стол, раскладывал большие чертежи охристой бумаги, которые почему-то назывались синьками, аккуратно оттачивал цветные карандаши и ставил на стол мраморную полированную светло-коричневую пепельницу. Утром, когда мы просыпались, весь проект был испещрен разноцветными значками, скобками, цифрами и записями, сделанными его мелким и твердым почерком, а пепельница полна окурками «Беломора» фабрики Урицкого. Проведя всю ночь за столом, папа взбадривал себя зарядкой с гантелями, беготней вокруг стола, а потом залезал в ванну с холодной водой. Выходил оттуда бодрым, добродушно подшучивал над мамой, быстро проглатывал завтрак, запихивал в черный портфель бутерброды (хлеб с маслом и неизменной холодной котлетой) и убегал на работу. Приходил домой

после шести, обедал, потом спал два часа, укрывшись газетой, а вечером, часов с одиннадцати, снова расстилал на столе свои чертежи.

У меня две сестры. Как же они не похожи друг на друга! Мирра – темная шатенка с живыми, лукавыми глазами, толстушка и непоседа. У Лили огромные серые глаза под темными бровями, пышные, светлые, выующиеся темными кольцами волосы. Когда она надевает праздничное темно-синее крепдешинное платье и расчесывает свои пушистые кудри, она просто красавица! Во всяком случае, я в этом уверен. По определению мамы, Лиля – ангел божий, тихая голубка, а Мирра – черт в юбке.

– Лили моя гордость, ее опять хвалили все педагоги, – говорит счастливая мама, возвратясь с очередного родительского собрания. – А сколько мы натерпелись с Миррой! Помнишь, Сема, как она опрокинула на себя кипящее молоко и изуродовала руку? А как ты наказал ее за разбитую чашку, и она, стоя в углу, немедленно испортила электророзетку? А история с тараканами?

История с тараканами была и в самом деле выдающаяся. Учительница немецкого языка, выйдя из себя, влепила Мирре двойку за шумное поведение и не очень заметные успехи. На другой день Мирра, наловив дома целый спичечный коробок тараканов, принесла его в школу, подложила в учительский стол перед приходом «немки» и приоткрыла коро-

бок. Тараканы, воспользовавшись предоставленной им свободой, резво забегали по столу и классному журналу. «Немка» с воплем выскочила из класса и привела директора. Маму вызвали в школу, и она вернулась «чернее тучи».

Папа посмеивается при этих воспоминаниях. Живая и веселая, остроумная и озорная Мирра – папина любимица.

То, что Лиля красивая, заметил не только я. Как-то ночью после двенадцати в квартире раздался звонок. Папа, уже лежавший в кровати, вскочил и пошел открывать. На площадке стоял высокий чернявый паренек. Он попросил вызвать Лилю.

– По какому делу? – накаляясь, спросил папа.

– По сердечному, – последовал храбрый ответ.

– Вон! – загремел папа. – Чтобы духу твоего здесь не было!

Паренек скатился с лестницы, а папа не мог заснуть всю ночь и утром, не выспавшийся и раздраженный, ушел на работу. Мальчика этого Лилиного звали Сережа Лигбот. Он с первых дней войны ушел в ополчение и погиб на фронте в сорок третьем...

Нам, детям, было непонятно, почему папа так болезненно отреагировал на ночной звонок, почему чуть не с кулаками набросился на мальчишку, вина которого была в том, что он влюблен. Однако, как говорила мама, на каждое почему есть свое потому.

Шел тридцать седьмой год. Нам было невдомек, что рядом с нами текла тревожная, тяжелая и опасная жизнь, в ко-

торой каждый взрослый, вне зависимости от личных заслуг, специальности, национальности, жил в постоянном страхе перед угрозой ареста, предъявления чудовищных обвинений и страшного нелепого конца. Родители, существовавшие в этом ужасном загадочном мире взрослых, все знали, но берегли нас – молчали.

Папин друг и сослуживец Оскар Яковлевич Куценко, тихий интеллигентный человек, был арестован, провел в Большом доме несколько месяцев и неожиданно вернулся домой. Весь перебитый, переломанный, без зубов, с больной психикой. Он прожил недолго: через два месяца после освобождения покончил с собой, выпрыгнув с пятого этажа своего дома, когда за ним пришли вторично.

Круг папиных сослуживцев и знакомых стремительно сужался. И он, ни в чем не виноватый, в тоске и страхе ждал ареста.

Мы не знали и не ведали о долгих бессонных ночах, когда родители не спали, прислушиваясь к шуму каждой проезжавшей по улице машины. Мы не знали, что у отца на всякий случай был приготовлен мешок с сухарями и бельем. Мы не знали, что мама дала ему обещание, настолько же самоотверженное, насколько наивное: в случае ареста поехать с ним хоть на край света. Мы ничего этого не знали и продолжали жить своими детскими интересами и повседневными делами.

Я учился в третьем классе, читал газеты, живо сочувство-

вал республиканцем и как все ненавидел Франко. В СССР прибыл пароход с испанскими детьми. Мы воодушевлено пели «Утро красит нежным светом стены древнего Кремля», бегали на «Чапаева» и с восторгом смотрели фильм «Если завтра война». Нам было совершенно ясно, ясно как дважды два – четыре, что «если враг нападет, мы врага разгромим малой кровью, могучим ударом». Мы были истовыми патриотами и настоящими пионерами. В своем альбоме для рисования я старательно вырисовывал портреты любимых вождей – Сталина и Ворошилова.

Много лет спустя мама рассказала об одной из бессонных ночей, полной тревоги и ожидания. Ночная машина не проехала, как обычно, мимо, а остановилась у нашего дома. Папа бросился к окну. Машина стояла около парадной. Из нее вышли люди в кожанках. Родители быстро оделись и стали ждать. Прошло томительных два часа. На улице тишина. Машина стояла на прежнем месте. Никто не выходил из дома, никто не входил в дом. Звонок в дверь. Родители переглянулись, и папа повернул ручку замка. На площадке стояли те, в кожанках, дворник Михаил Рогозин и понятые.

– Вы Разумовский? – спросил старший.

– Я.

– У вас есть телефон?

– Есть.

– Разрешите позвонить.

– Пожалуйста.

Чекист позвонил начальству отчитаться: операция закончена, сделан обыск, произведен арест.

– Спасибо. Извините за беспокойство.

Дверь захлопнулась. Папа и мама сели рядом на кровати и молча просидели до утра.

Деньги нам, детям, на руки почти никогда не давали, но изредка мама вручала мне пару пятак на газированную воду, до которой я был великий охотник, или на ириски, продававшиеся в табачных ларьках. Однажды мальчишки втянули меня в денежную игру «пристенок». Я сразу проиграл свой пятак и вечером рассказал об этом маме. Она не корила меня, не ругала, но задала вопрос, который был хуже любой ругани: «А ты подумал, что за этот пятак он, может быть, просидел ночью за столом лишние пять минут?»

Для того чтобы помочь отцу, мама часто пользовалась ломбардом: закладывала и перезаклаживала вещи.

Еда в доме всегда была очень скромной, дежурное блюдо по утрам – отварная картошка с перцем и лавровым листом. Сыр или колбаса – только по редким праздникам.

Покупка новой одежды для любого члена семьи становилась событием. В основном носильные вещи перешивались из старых. Дача тоже была не по карману родителям, и лето мы обычно проводили в Польском саду. За все довоенное время у нас было три выезда на дачи. Один раз, в тридцать втором году, мы жили в Мирёво, живописной деревеньке

под Лугой, с озером, окаймленным голубым кружевом незабудковых зарослей, с чудесным сосновым бором, в котором белые грибы росли в седых мхах, с хозяйкой, которая пекла удивительно пахнущий круглый хлеб, с катаньем на телегах, запряженных деревенскими лошадьми, и со спортивными играми-состязаниями, которые придумывал для всех обаятельный и неугомонный Владимир Григорьевич Вейнберг, талантливый инженер и спортсмен. Мы дружили семьями, и Вейнберги пригласили нас в Мирёво. Глава семейства профессор Григорий Яковлевич Вейнберг был инженером-металлургом. Его жена Мария Марковна, маленькая опрятная старушка, радушная хозяйка и добрая бабушка, баловала своих внуков: Иру, Наташу и моего друга и ровесника Колю. Владимир, их отец, был женат на Нине Викторовне, красивой женщине, с которой моя мама познакомилась в родильном доме.

Судьба этой семьи, потомков поэта и переводчика Петра Вейнберга (по линии Григория Яковлевича) и композитора Антона Рубинштейна (по линии Нины Викторовны), была типичной для того времени. Григория Яковлевича как частного собственника и царского профессора сначала, в 1919 году, посадили в тюрьму. Потом выпустили, но уволили с работы. Затем «уплотнили», вселив в его большую и богатую квартиру на Подольской улице несколько семей и превратив таким образом ее в коммуналку. Владимир Григорьевич был арестован по ложному доносу после убийства Кирова, со-

слан в лагерь и там вскоре расстрелян. После этого обширный круг друзей и знакомых Вейнбергов скоростижно растаял. Кроме одного человека – нашей мамы, которая упорно, вопреки папиным просьбам, продолжала навещать их вместе со мной, «чтобы мальчики продолжали дружить...» Я любил ходить в тот дом, потому что Мария Марковна всегда угощала чем-то вкусным, а в комнате у Коли висела гимнастическая трапеция, на которой мы подтягивались и кувыркались. Кроме того, мне нравилось рассматривать замечательные рисунки зверей Колиной старшей сестры Наташи, будущего архитектора.

В другой раз дачу-домик в поселке Токсово предоставил нам папин друг Владимир Соломонович Горенштейн, вместе с которым папа заканчивал Политехнический институт в Киеве. Там, в Токсово, я подружился с его сыном Ильей, худеньким голубоглазым очкастым мальчиком, хорошим рассказчиком и шутником. Улыбка никогда не сходила с его лица, кроме моментов, когда он опускал свой длинный нос в книгу. Тут он полностью отключался от мира, читал запойно, постоянно, за завтраком, обедом, ужином, и в промежутках между ними, вызывая неудовольствие взрослых. Чтение было главным его увлечением, но кроме этого он часто мастерил какие-то хитроумные оптические приборы из картона, бумаги и трехгранных линз, принесенных отцом с работы. Особенно его увлекала идея создания уникального школьного перископа для подглядывания под парту во время

экзаменов. Для воплощения этой идеи он усердно трудился целыми днями, оставляя после себя кучи мусора, обрезков картона и бумаги, которые его мама, Вера Леонтьевна, ежедневно убирала, задавая Ильюшке один и тот же вопрос: это уже можно выбросить?

По утрам Вера Леонтьевна кормила нас на веранде яичницей, молодой картошкой, огурцами и обязательными большими ломтями булки с маслом. Булка после обильного завтрака не лезла в горло, и мы нашли выход: отправляясь гулять, брали ее с собой, «чтобы съесть по дороге» и, отойдя подальше от дома, соревновались, кто дальше закинет булку в кусты...

(В темные холодные декабрьские ночи сорок первого года, в мучительном ожидании утра, когда на столе появится крошечная серо-зеленая пайка дурандового хлеба, меня часто преследовали воспоминание и почти физическое ощущение весомости белого толстого ломтя, поблескивающего золотистым сливочным маслом, отрыв его от руки, траектория полета в голубом небе и легкий шорох в кустах...)

Детские игры, школьные дела, занятия лепкой в доме пионеров, лесные прогулки, веселые летние купания в озере, лыжные тренировки в ЦПКиО, совместные забавы и ссоры с мальчишками, записочки девчонкам, кино, музеи и весь наш устоявшийся и любимый семейный быт – все это оборвалось сразу и навсегда двадцать второго июня 1941 года.

Июль

Яркое солнце. Голубое небо. Жара. Город преобразается на глазах. Нет ни одного окна, не заклеенного белыми Х-образными крестами. Витрины магазинов зашиваются неуклюжими дощатыми коробами, внутрь которых насыпается песок. Сводки Информбюро ошеломляют. Наши войска оставили Прибалтику, часть Западной Украины и Белоруссии, Минск, Смоленск, Псков, Порхов, Новоград-Волынский...

Немецкая волна неудержимо катится на восток, и линия моих красных булавочных флажков на большой карте в коридоре также неудержимо приближается к Москве и Ленинграду.

Когда же их остановят? Почему Красная Армия отступает, вместо того чтобы наступать? Где же наши прославленные маршалы – Ворошилов, Тимошенко, Буденный? Где наши танки, самолеты, кавалерия? Ответа нет, Есть лишь сухие официальные сводки Информбюро об оставленных городах, ожесточенных боях и о количестве сбитых немецких самолетов и уничтоженных танков. Сколько же у них еще самолетов и танков, если они при таких потерях все еще стремительно рвутся вперед?

Во многих домах угловые квартиры превращены в доты. Жильцов спешно переселяют, окна закладывают кирпичом и превращают в доты, из бойниц которых торчат стволы

пулеметов или небольших орудий. Город готовится к уличным боям. Неужели до этого дойдет? Этого просто не может быть! Ведь нас не бомбят, стоит жаркое лето, звенят трамваи. Если бы не внутреннее состояние растревоженного муравейника и не репродуктор, передающий ужасные новости...

Целыми днями я пропадаю в Польском саду, где записался в организованный райкомом комсомола военно-спортивный клуб. Вместе с другими ребятами и взрослыми мы роём на газонах с табличками «По газонам не ходить! Штраф 3 рубля» траншеи – укрытия от бомб. Мне нравится эта работа. Наши щели-окопы глубиной почти в человеческий рост, будут спасать людей, оказавшихся поблизости во время бомбежки. Мне нравится орудовать лопатой. Черная мягкая земля хорошо поддается, мы делаем нужное дело, и мускулы заодно крепнут. В нашем клубе человек тридцать мальчишек моего возраста и чуть постарше. Мы учимся ходить строем. Нам раздают деревянные винтовки. Нас учат штыковому бою. Однажды военрук приносит нам настоящую винтовку и объясняет принцип работы затвора, показывает, как заряжать винтовку, как вставлять обойму. Все у него получается быстро и ловко. Впервые в жизни я держу в руках настоящую винтовку. С уважением и робостью. Неужели мне ее когда-нибудь доверят, и я смогу стрелять по фашистам? А тяжелая-то какая! И затвор не слушается. У других мальчишек дела не лучше, но кое-кто уже освоил науку, лихо до-

сылает патрон в патронник, поворачивает рукоятку, становится на колено, и, прищулив глаз, нажимает спусковой крючок. Выстрела нет. Винтовка учебная с дырками на стволе, но все же настоящая! С благоговением держу гранату РГД. Настоящая граната! Как в кино. Военрук объясняет действие запала: в этой медной трубочке все дело. Без нее граната – просто железка. С запалом же граната – грозное оружие, «карманная артиллерия», как назвал ее сам Ворошилов. Все очень просто. Надо вставить запал, снять чеку и бросить гранату в противника. Если уронил гранату с сорванной чекой – конец! Все просто! Заодно с практикой военрук проводит с нами беседы. Враг у ворот! Красная Армия, конечно, разобьет его на подступах к Ленинграду. Однако может случиться и такое, что он где-то прорвется в город. Так неужели мы допустим, чтобы проклятые фашисты топтали священные камни нашего города? Мы дружно хором отвечаем:

– Нет! Не допустим!

Он говорит, что нам дадут бутылки с бензином. Это тоже просто. Надо только попасть бутылкой по смотровым щелям. Танк сразу вспыхнет, фашисты повыскакивают из него, а он взорвется. Все это так интересно! Нас готовят к уличным боям!

Спортивная часть у нас тоже насыщенная. Мы бегаем по саду, учимся играть в волейбол и ездим в ЦПКиО на занятия по плаванию. К своему стыду я оказался единственным в группе, кто совсем не умеет плавать. На это есть особые

причины.

В нашей семье хорошо плавал только папа. Когда мы жили в Мирёво, он ежедневно бегал к озеру и подолгу плавал, нырял, отработывал стили и свежий и довольный возвращался домой. Мне было тогда шесть лет. Папа, сторонник мужских методов воспитания, несколько раз безуспешно пытался научить меня плавать, а однажды пошел на эксперимент: на глубоком месте неожиданно выдернул из под меня руку. Я немедленно пошел ко дну и захлебнулся. Вытащенный им из глубины, отфыркавшись, откашлявшись и отдышавшись, я заревел и долго не мог прийти в себя от испуга. Неприятные ощущения сохранились надолго, и к пятнадцати годам плавать я так и не научился. Здесь, в группе, я решаю добиться своего во что бы то ни стало. Кончаются двухчасовые занятия, я одеваюсь и иду вместе со всеми. Где-то на пути к выходу сворачиваю на боковую аллею, делаю круг и возвращаюсь к заливу. Одному легче. Я не слышу насмешек товарищей, недовольного голоса тренера. И вот наступил удивительный миг – я проплываю два, три метра! Вода держит меня! Новая попытка. Я плыву уже пять, десять метров.

В парке уже совсем темно. Счастливый, я перехожу мостик, прыгаю на подножку трамвая, и вдруг, как обухом по голове, мысль: ведь идет война!.. Лиля вместе с другими студентами Университета на окопных работах где-то под Толмачевым. На улицах – плакаты ленинградских художников. «Защитим город Ленина!» – это плакат Серова. На перед-

нем плане солдат, матрос, рабочий и работница, на заднем — Исаакий, заводские трубы, Петропавловка. На углу Международного и первой Красноармейской плакат Кукрыниксов «Напоролся!». Могучий рабочий красного цвета вонзает штык в маленького черного Гитлера.

После занятий в ЦПКиО у меня волчий аппетит, и я сметаю все, что дает мне мама. С 18 июля введены продовольственные карточки. В магазин теперь идем не только с деньгами, но и с разноцветными талончиками, на которых написано: хлеб, крупа, масло, сахар. Продавцы вырезают талоны ножницами. Это долго. Очереди растут. Но продуктов пока достаточно. Хлеб мы даже весь не выкупаем: на папину рабочую карточку дают по 800 граммов, а нам всем по 600 — это почти две буханки на пятерых. Появились еще так называемые коммерческие магазины. Там есть все: колбасы, сыр, икра, масло, сахар по 17 рублей за килограмм. Кто же такой купит? Люди заходят в эти магазины, с любопытством смотрят на сумасшедшие цены и выходят.

23 июля на стенах появились приказы МПВО о круглосуточных дежурствах на чердаках и крышах. И плакат: дружинница и мальчик в кепке, оба с противогазами, смотрят в небо. А кругом крыши, крыши и над ними перекрещивающиеся лучи прожекторов...

Сентябрь

В сентябре открылась наша 272 школа на Первой Красноармейской. На стене у входа плакат «Враг у ворот!». Состав класса сильно изменился. Многие ребята эвакуировались с родителями, и нас слили с параллельными восьмыми. Из старых – Авка Спиридонов и Вовка Петров, мой соредактор по классной газете «Заноза». Мы усаживаемся рядом.

Школа пустовата... Учителя тоже другие, новые. Из старых только Евдокия Исааковна – физичка и Татьяна Захаровна – учитель физкультуры. Худенький седой Григорий Николаевич Курындин, наш новый преподаватель, рассказывает нам о древнерусской литературе, читает: «...Не лепо ли братия начати старыми словесы трудные повести о полку Игореве...». Непривычные слова, странные обороты... «А Боян же вещей... растекался мыслью по древу, серым волком по земле...» В голове утренний слух: немцы обстреливают Ижорский завод. Это так близко... Дома надо еще раз проверить светомаскировку, чтобы ни одна щелочка не светилась... «Кони ржут за Сулой, звенит слава в Киеве, трубят трубы в Новеграде, стоят стяги в Путивле...». Ага! Вот оно что! Не зря наш учитель читает нараспев это древнее сказание. Это же о нас, о нынешнем дне!.. Дальше я уже слушаю, не отрываясь. Музыка ритма, напевность, смысл повествования целиком захватывают меня, и внезапно прогремевший

звонок вызывает досаду.

Директор школы – наш бывший завуч, Андрей Александрович Успенский. Нахмуренные брови, седые волосы ежиком. Замкнут, неразговорчив. Учительница географии в застегнутом сером пальто укрепляет на доске карту Советского Союза и показывает нам примерное расположение фронтов. Мы слушаем внимательно, а я даже вношу поправку по последней сводке. Рассказав о фронтах, учительница несколько минут сидит молча, потом вздыхает и, задолго до звонка, объявляет о конце урока.

– Война, – говорит она в дверях. – У всех много дел, ребятки... Домашних заданий не задаю. А у вас год быстро пролетит, глядишь и восьмой закончите...

Урок географии последний. Мы спешим в школьную столовую, где дают горячий суп. Здесь вертятся наши «дядечки», дядя Леша и дядя Тарас. Тарас, туповатый мужик, всегда был добродушным, а дядю Лешу мы боялись. В школе он выполнял не только обязанности сторожа и уборщика, но и осуществлял своего рода полицейские функции. Если учительница, употребив все свои педагогические премудрости, не справлялась с разбушевавшимся классом, то вызывала дядю Лешу, который быстро наводил порядок, раздавая налево и направо хлесткие «щелбаны» по головам. Иногда же, скрутив какого-нибудь буяна и захватив его под мышку, он просто выносил его в коридор и там «маленько учил». Потолкавшись у окошечка раздаточной, оба дядьки получа-

ют по тарелке супа и быстро расправляются с ним.

Я встаю, чтобы бежать домой, но меня неожиданно оставливает незнакомая женщина и спрашивает:

– Мальчик, тебе нравится суп?

– Конечно, нравится. Только очень жидкий.

– Жидкий суп, – повторяет она и задает тот же вопрос сидящим за столами ребятам. Они отвечают то же.

– А ну-ка, ребята, пойдемте на кухню и посмотрим, почему он такой жидкий, – неожиданно предлагает она. Мы встали из-за стола в недоумении.

– Нас не пустят, – говорит кто-то.

– Со мной пустят, – уверенно отвечает женщина. – А вас я тоже приглашаю с нами, – обращается она к дяде Тарасу и дяде Леше.

Они послушно подчиняются, и мы всей гурьбой переступаем через заветный порог.

– Куда? Вход на кухню посторонним запрещен! – бросается навстречу нам повариха. – Выметайтесь немедленно!

– Прокуратура Ленинского района, – спокойно представляется женщина, предъявляя книжечку. Повариха застывает на месте с открытым ртом.

– Налейте-ка мне тарелку прямо из котла, – требует прокурорша.

Мы окружаем ее и, глотая слюны, смотрим, как она болтает в тарелке ложкой. Может она и нам нальет по тарелке?

– Это не суп. Это вода, – резюмирует прокурорша и вы-

ливает тарелку обратно в котел.

– А это что за бидон? Откройте!

Хмурая повариха открывает бидон и послушно отдает черпак.

– Ого! Это уже совсем другой суп, – говорит прокурорша и показывает нам тарелку. – Для кого бидон?

– Для учителей, – буркает повариха, глядя в пол.

– Так! Ребята, идем дальше. Откройте шкаф.

– Ключа нет, – говорит повариха. – Ключ у заведующей.

– Ваша фамилия? – обращается прокурорша к дяде Леше.

Он называет.

– Взломайте дверь.

В руках дяди Леси, как из-под земли, оказываются молоток и долото. Минута – и дверь открыта. Из шкафа извлекается еще один небольшой бидон. Прокурорша открывает его, зачерпывает ложкой гущу и выкладывает ее на тарелку.

– Чей бидон?

– Не знаю.

– Все ясно. Итак, имеется три сорта супа: суп-вода – детям, суп как суп – учителям и суп-каша – себе. Составляем акт.

Она долго пишет акт. Мы подписываем его и уходим, искренне сожалея о том, что она так и не раздала нам найденное.

Я бегу домой. Дел много. Я командир пожарной команды, и у нас дежурства по дому на крыше. Первое, что нам,

мальчишкам поручил домком, — это очистка чердака от хлама, как первое противопожарное средство. И мы привычной футбольной командой истово беремся за дело. Чердак нашего дома, на котором накопился всякий хлам со времени основания дома, был настоящими Авгиевыми конюшнями. Чего там только не было! Старые железные кровати, матрасы с торчащими пружинами, деревянные ящики, связки бумаг, покрытых толстым слоем пыли, стулья без сидений, сломанные керосинки, дырявые чайники и примуса... Весь этот ненужный домашний скарб, выброшенный за ненадобностью и накопившийся за несколько десятилетий, мы должны были разгрести, вытащить во двор и сложить в большую кучу.

Это была работа! Мою команду составляли мальчишки помладше меня: Игорь Романов, Толька Пономарев, Колька Яблоков, Витька Медведев и еще какие-то пацаны, имен которых я не запомнил. Но я помню, с каким азартом мы работали, как тащили железные кровати, как разбивали топорами диванные доски, все в густых клубах пыли, и целые дни вверх-вниз по лестницам: — разборка в полутьме чердака и сползание вниз с громоздкой неуклюжей поклажей. Мы все ходили чумазые, как черти, с черными от пыли лицами, по которым струйки пота прокладывали светлые дорожки, но никто не бросал работы. Мы были горды и преисполнены ощущением нужности своего дела, мы работали на себя, на свой дом, на Ленинград, ясно отдавая себе отчет в полезно-

сти нашего дела, чтобы чердак был чист на случай бомбежки зажигательными бомбами. Куча во дворе росла, чердак понемногу освобождался. Каждый день, прибежав из школы и что-нибудь перехватив, я сбегал во двор и созывал всю свою команду. И опять мы неумолимо носились вверх-вниз по лестницам.

Наконец наступил день, когда чердак опустел. С удивлением осматривал я невысокое странное полутемное помещение. Тусклый свет проникал сквозь полукруглые люки – выходы на крыши. Потолок с темными балками – стропилами – двумя плоскостями под углом спускался к черному полу, разделенными на отсеки поперечными балками. Теперь мы ведрами таскали сюда густую белую известковую краску и закрашивали все изнутри. Эта краска – противопожарное покрытие; окрашенное ею дерево не горит – так, во всяком случае, вещают все противопожарные плакаты с белым заголовком на фоне огня «Как бороться с зажигательными бомбами». На плакатах – люди в нарядных синих комбинезонах. В руках у них длинные клещи, в которых зажата небольшая черная бомба, полыхающая желтым пламенем. Рядом – изображение бомбы в разрезе и принцип ее действия. Бомбу полагается засыпать песком. Его к нам во двор привозит трехтонка. Мы помогаем разгружать ее, потом забрасываем песок наверх и раскидываем его по углам. Нам выдают пожарный инвентарь: ведра, багры, длинные клещи и два красных огнетушителя вместе плакатом-инструкцией,

как им пользоваться. Мы устанавливаем все на местах, любим своей работой и наведенным порядком. Все. Мы к бомбежке готовы. С любой зажигалкой справимся. Пусть фрицы летят. С любой зажигалкой... А если фугаски?

Мы вылезаем на крышу и расползаемся по ней. Как здесь интересно! Красноватые скаты крыши, покрытые кровельным железом, довольно плоские. Посередине, на гребне крыши, через каждые пять-шесть метров прямоугольные закопченные трубы – выходы печного отопления. У края крыши бортик – узкая кромка кровельного железа. Осторожно подхожу к нему и заглядываю вниз. Ух, как далеко до булыжной мостовой! Да и вся наша Третья Красноармейская с крыши совсем другая. С гребня крыши виден весь город, город новый и неузнаваемый. Нескончаемые ряды крыш, уходящих в горизонт и теряющихся в дымке. Заводские трубы в районе Обводного канала. Справа, почти рядом, голубеют купола собора на проспекте Красных командиров. Высокие трубы у горизонта. Сколько их? Раз, два... восемь... шестнадцать – весь город в кольце заводских труб. Слева, впритык к нашему дому, – громада корпуса ЛИСИ. На его крыше люди с противогазными сумками и повязками на руках – это пожарная команда института, студенты и преподаватели.

Над городом чистое голубое небо с перистыми облачками. Тишина. Солнце теплом обдает лицо. Звонки трамваев с Международного... Неужели все-таки будут бомбежки?

Дома меня встречает встревоженная мама.

– Где ты был?

– На крыше.

– Как? На самой крыше? Зачем?

– Мы все закончили на чердаке. Надо было осмотреть объект.

– Оттуда можно свалиться! Прошу тебя – не ходи больше на крышу!

– Мам, я буду ходить на крышу. Я отвечаю за пожарную команду. С завтрашнего дня у нас ежедневные дежурства по крыше.

– Дежурства? По крыше? – Мама в ужасе.

Восьмое сентября. С утра завывали сирены, и по радио прозвучало: «Говорит штаб местной противовоздушной обороны города! Воздушная тревога! Воздушная тревога!»

Хватаю противогаз и под вопли мамы бегу на крышу. Ребята уже там. Все возбуждены. Разбираем багры, клещи и ждем. Прерывистые гудки заводов, вой сирен. Потом издали доносятся ухающие звуки – стреляют зенитные орудия. Вдалеке слева в небе возникают быстро тающие клочки – облачка. Потом по диагонали над нашим домом довольно низко проносится одинокий самолет. Наш? Немец?

Откуда-то издалека начинают доноситься глухие тяжелые удары. Они не приближаются, но нарастают по частоте. Гамма звуков с каждой минутой становится разнообразнее и богаче. Снова ухают зенитки. Кучевые всплески серых хлоп-

ков-дымков смещаются вправо и становятся более близкими. Над нами с гулом проносятся еще два самолета. Прилепясь к трубам, мы зачарованно смотрим на необыкновенное зрелище. И вдруг осеняет: это же всерьез, это же война, это же немцы бомбят Ленинград! Все чаще, теперь уже непрерывно, бьют зенитки. Небо вокруг становится похожим на решето от их темных точечных проколов. Вдалеке на горизонте мы замечаем в небе группу темных точек, движущихся в нашу сторону, и, как в кинокадрах, возникают взрывы с огнем и дымом под ними... Где же наши истребители, наши знаменитые «ястребки»? Где-то невдалеке раздается сильный взрыв. Пламя и дым на месте падения бомбы. Где это? На Обводном? На Седьмой Красноармейской?

Ссыпаемся с крыши на чердак, чтобы не сбило ударной волной. Стоим в полумраке, пытаюсь угадать происходящее по звукам. Бомбят уже совсем рядом, вокруг нас. Гул самолетов. Вой летящих бомб, глухие и мощные удары. Отчаянный лай зениток. Все это сливается в общий грохот, сквозь который прорывается звенящий детский голос: «Зажигалка!». В углу чердака ослепительное голубоватое пламя... Зажигалка! На нашем чердаке! Вперед! Толпой мчимся к черному продолговатому предмету, из которого с треском и шипением выплескиваются в разные стороны струи рассыпающихся огней-блесток. Фосфор!

Тушить песком! Быстро! Закидывай здесь! Лопаты мелькают в наших руках. Еще вспыхивают отдельные искры, но

все-таки мы справились. Потушили. Главным тут сразу оказался маленький чернявый Витька Медведев. Это он первый заметил бомбу, первым вступил с ней в бой – стал засыпать песком. И мы, возбужденные и чумазые, хлопаем его и трясем от радости.

Между тем грохот сверху вроде бы затих. Издалека еще доносятся залпы зениток, но и они слышны все реже. Мы решаемся вылезти на крышу. Перед нами открывается фантастическая картина. Полнеба с юга занимают тяжелые густые красно-оранжевые облака, тянущиеся от горизонта. Они медленно ползут, меняя форму и очертания, красными ватными хлопьями темно-фиолетовыми густыми тенями, резко очерченные чистой голубизной неба. Внизу справа, в районе проспекта Майорова и дальше, к Невскому, горят несколько домов. Впереди, слева над Фрунзенским универмагом тоже характерные дымы, но все они темные, серо-пепельные, непохожие на те, что сплошной пеленой нависли над ними. Что это горит? Почему такое кроваво-красное одеяло над городом?

Дома я застаю всю семью, кроме Лили. Все встревожены, растеряны, угрюмы. Перебрасываются короткими репликами. Меня встречают, как заново рожденного. Я возбужденно рассказываю о наших подвигах, о зажигалке, о Витьке Медведеве, о красивых разноцветных облаках.

– Откуда шли облака? – спрашивает папа.

– С юга. Вернее, юго-востока. По всему горизонту.

– С юго-востока, – повторяет папа, – с юго-востока.

Он достает одну из своих синек – районов Ленинграда.

– Уж не Бадаевские ли это склады?

– А что это за склады?

– Склады с продовольствием. Там много продовольствия, очень много. Это один из крупнейших складов, – взволнованно повторяет папа. Взгляд его из-под пенсне встревожен и угрюм. Мне непонятна его реакция. Подумаешь, какие-то склады! Тут столько домов горит, сколько, наверное, людей погибло, а он почему-то стоит у окна и молчит...

Прибегает соседка Фаня Кушак.

– Вы слышали? Дом на пятой – до фундамента! Сплошные развалины. В ЛИСИ попало несколько зажигалок. Там потушили. И еще, говорят, немцы разбомбили Бадаевские склады...

– Бадаевские склады! Тысячи тонн сахара... Мука. Масло. Хлеб... – папа произносит это тихо, не глядя на нас. А мы стоим рядом, пораженные даже не сутью сказанного, а тоном сказанного им и его видом. Что это он так разволновался? Ну, будет хуже с продуктами. Ничего, переживем. Лишь бы немцев отогнали...

Откуда нам было знать, что сегодняшняя бомбежка практически решила судьбу Ленинграда, в том числе и нашу, что начинается самая страшная полоса нашей жизни, что Ленинград полностью окружен и блокирован, что муки в городе осталось всего на семнадцать дней, что на Бадаевских скла-

дах погибло две с половиной тонны сахара и что черную землю, пропитанную этим сахаром, будут в декабре продавать на рынке по сто рублей за стакан; откуда нам было знать, что немцы, уверенные в том, что взятие Ленинграда – вопрос дней, назначили генерала Кнута комендантом Ленинграда и торжественный банкет в «Астории» должен был состояться уже два месяца назад – 21 июля... Разве могли мы предугадать размеры бедствия, обрушившегося на наш город? Разве могли мы вообразить, что нам предстоит?

Мы боялись бомбежек, мы боялись немецкого вторжения. Пристально следя за сводками, мы ужасались стремительности немецкого наступления. Не успев преодолеть годами вколачиваемую в нас убежденность в непобедимости Красной Армии, мы все еще надеялись на чудо. Каждый раз, с замиранием сердца слушая начало военной сводки, истово ждали перелома, того, что и должно, что обязано было произойти – коренного перелома и решительного контрнаступления Красной Армии. Разве могли мы тогда представить, что настанет время, когда голод настолько истощит наши тела и нашу психику, что сделает нас равнодушными к нашим военным успехам и неудачам, а кусок хлеба, размером в два спичечных коробка станет в наших больных мозгах значительнее всего остального и заслонит смертельную опасность немецкого вторжения?

А пока мы просто стояли рядом с отцом в окружении всех привычных и родных предметов – наших картин, нашей ме-

бели, фотографий, висящих на своих обычных местах, занавесок на окнах и мирно тикающих часов в высоком дубовом шкафу.

Мы сидим вчетвером, укрывшись от обстрела в ванной комнате: я, папа, мама, и наш сосед Савелий Кушак, высокий красивый старик с большими голубыми глазами и окладистой белой бородой. Я просматриваю книгу художника Лепикаша «Акварель»; мама сидит, пригорюнившись в уголке, а папа и Кушак ведут беседу. Кушак рассказывает о своей жизни, папа изредка вставляет одно-два слова, и я, под равномерный звук падающих капель из крана, ощущаю точность папиных определений, ясность логики и отмечаю, что его реплики являются четкими берегами, ограничивающими многословную речь Кушака. Поток его слов послушно меняет направление, следуя поворотам и изгибам папиной ясной мысли.

Постепенно книга пересиливает и переключает меня на иное, более интересное. Автор рассказывает о тайнах мастерства акварели, о специфике акварельной техники, иллюстрирует текст своими работами. Метод его строг и прост. Сначала делается точный рисунок свинцовым карандашом, затем тонко, прозрачно заливаются все локальные пятна. На одной странице нарисовано карандашом чучело утки, на другой та же утка предстает уже в цвете, но как бы под папиросной бумагой. Второй этап – усиление цвета вторым за-

ливом до окончательного звучания. Третий рисунок – законченная работа: красивая утка с синей головой, белым воротничком на шее и оранжевыми лапами. Как просто и как недостижимо!

На следующих страницах автор усложняет задачу: показывает принцип работы над пейзажем, и в конце демонстрируется самое сложное – портрет человека. Тонкий линейный рисунок старушки в платке. Морщинистое лицо, усталые добрые глаза, набрякшие веки... Как это здорово!

Хочется попробовать. Хочется рисовать. Чтобы так же, не хуже. Чтобы тоже портрет. Или пейзаж. Или чучело утки. Но ведь за этой простотой, за этой точной линией большая школа, годы труда, длительная практика...

Все это несбыточно, нереально, все, как прекрасный сон, то ли в прошлом, то ли в будущем.

А пока так же капает вода в медную ванну, так же равномерно катится речь голубоглазого старика, белеют мелом стены, стоит медная колонка с чугунной дверцей с выпуклыми буквами «Санкт-Петербург» на ней, и мы сидим вчетвером и ждем конца тревоги...

У нас в семье всегда существовал культ отца, созданный и тщательно поддерживаемый мамой. Папа всегда был как бы на пьедестале. Ему предоставлялась «военная тропа». Дом и все дела и заботы, связанные с ним, были исключительно прерогативой мамы. Она же в основном занималась

и нашим воспитанием. Мимоходом, незаметно в рассказах о своем отце, в пословицах и поговорках, которых она знала бесчисленное количество, мама закладывала в нас нравственные основы: не тронь чужого, слабому помощи, падающего поддержи, перед сильным не клонись, если не можешь идти вершинами, иди подножиями, ничто так дешево не стоит и ничто так дорого не ценится, как человеческое внимание, и т. д.

Уроженка Люблина и воспитанная дедом, получившим образование в Германии, мама владела польским и немецким, как русским, и всю жизнь переживала, не находя применения своим знаниям. Она была живым, остроумным и бесконечно добрым человеком с критическим складом ума и народным здравомыслием.

У папы была блестящая память, он был широко образован. С детства у нас, детей, была непоколебимая, многократно подтвержденная уверенность в том, что он может ответить на любой вопрос из истории, литературы, географии и техники. И вообще на любой вопрос. Эта уверенность не была поколеблена и во взрослые наши годы.

Много лет спустя мы с архитектором Н.Г. Эйсмонтом трудились над проектом памятника «800 лет воссоединения Украины с Россией». Николай Гелиодорович сам был эрудитом и человеком высокой культуры. По ходу работы у нас с ним возник вопрос из истории воссоединения, и он по привычке полез в справочники и энциклопедии, но, к свое-

му разочарованию, не нашел там ответа. Тогда я предложил разрешить вопрос простым способом – позвонить папе. Мы позвонили и тут же получили четкий, аргументированный и подтвержденный ссылками на авторов ответ. Николай Георгиевич был поражен не столько сутью ответа, сколько моей незыблемой уверенностью в том, что папа ответит на любой вопрос.

В своей профессии, в своем деле папа был асом. Он всегда был либо ведущим инженером, либо главным, либо руководителем проекта; его всегда приглашали на экспертизу самых сложных технических вопросов по водоснабжению Ленинграда. Он владел редкой способностью множить и делить в уме многозначные числа, чем развлекался на работе и дома, удивляя окружающих. Молодые инженеры иногда подначивали его:

– Самсон Львович! Сколько будет 278 умножить на 26 ?

Ответ давался моментально и всегда совпадал с последующей проверкой на логарифмической линейке.

Он любил шахматы, книги и покой. Читал постоянно и хорошо знал классическую и современную литературу.

Октябрь

С первого числа снова уменьшили норму хлеба. Уже в третий раз. Теперь папа по рабочей карточке получает 400 граммов, а мы все – по 200 . Дома стало голодно. На крупя-

ные и масляные талоны почти ничего не выдают. Теперь мы ежедневно вспоминаем, что еще месяц-полтора тому назад могли бы что-то закупить, засушить сухарей, но ничего не предприняли, наивно надеясь, что дальше хуже не будет... Мама приносит с Сенного рынка килограмм соевых бобов, выменянный на шерстяной джемпер, и мы пируем два дня и удивляемся, почему мы никогда раньше не ели такой прекрасной пищи.

Теперь у нас на всех килограмм хлеба на день. Это примерно три четверти буханки. Мама по утрам делит хлеб на две части: одну половину прячет в буфет на вечер: а другую делит на равные куски к завтраку. Пайка хлеба и стакан кипятку с ложечкой сахара – так начинается наш день.

Чтобы отвлечься от голодных мыслей о еде, я слоняюсь по квартире в поисках занятия. Нахожу кусок хозяйственного мыла, сжимаю его, скатываю шарики и неожиданно убеждаюсь в его пластичности. Из него можно лепить. Ага! Идея приходит сразу, и через два часа я показываю маме две фигурки – толстых и смешных человечков – Добчинского и Бобчинского. Мирра тоже принимает участие в обсуждении, потом предлагает мне пойти погулять.

– Куда?

– Да недалеко, там, около Звенигородской, есть одно интересное место...

Я сразу соглашаюсь, потому что всегда рад побыть, поговорить с Миррой, а уж если она зовет на что-то интересное,

то не зря. На Загородном проспекте, рядом с кинотеатром «Правда» Мирра подводит меня к дверям столовой, и мы встаем в длинную очередь. Сначала стоим на улице, потом постепенно продвигаемся внутрь и оказываемся в большом зале. Вкусно пахнет. Мы занимаем освободившиеся места, и официантка приносит нам две большие тарелки дымящегося супа из соевых бобов. Вкуснота необыкновенная! Суп съеден, и тарелка вычищена маленьким кусочком хлеба, случайно оказавшемся в Миррином кармане. Мирра заказывает еще две тарелки и сливает суп в бидончик. Для мамы и папы. Я смотрю на нее во все глаза. Надо же, как она здорово придумала. Мы теперь сюда будем ходить каждый день!

На другой день я уже сам торможу ее: Бросай все! Пошли за супом!

Мы быстро минуем Витебский вокзал, я подгоняю Мирру, – надо скорее встать в очередь. Вчерашняя тарелка с коричневатой жидкостью с поблескивающими на ней блестками жира и ложка, полная упругих солоноватых бобов стоят у меня перед глазами. И я еще сильнее тяну Мирру за рукав и в предвкушении пиршества сглатываю набегающую слюну. Вот она, Звенигородская. Вот и вход в столовую... Но что это? Где же очередь? Что такое?... Мы поднимаемся в зал. Он полупуст.

- Супа больше нет, – говорит вчерашняя официантка.
- А что есть?
- Только чай. Сладкий.

Потерянные, мы стоим в унынии.

– Давай возьмем чай, – предлагает Мирра. – Ведь сахара дома тоже нет.

Наливаем полный двухлитровый бидон сладкого чая и медленно бредем домой.

Мы с Вовкой Петровым выходим из ворот школы на Первую Красноармейскую и заходим в гастроном на Международном. Прилавки пусты. Люди заходят и тут же выходят. Крупа пропала. Масла уже давно нет и в помине. Нет мяса. Нет практически ничего, чем были забиты витрины и полки еще три месяца тому назад. Народ голодает, и тревога незримо входит в каждую семью, в каждый дом. Неделию тому назад Лиля ездила на рытье окопов и привезла целый рюкзак капустных кочерыжек, оставленных в земле после сбора капусты. Она рассказала, что множество людей копается на этих полях, увозя огромные мешки кочерыжек и хряпы – верхних темных листьев капусты. Хряпа – ценнейший продукт. Мама долго возится на кухне и приготавливает нам две сковородки лепешек из нарубленных кочерыжек, поджаренных на олифе. Это объедение мы растягиваем на два дня!

Мы с Вовкой заглядываем в булочную на Международном. С самого детства она называлась булочной «У Лора», по имени ее дореволюционного владельца. Сейчас «У Лора» пусто. На полках темнеет ряд хлебных буханок, и стоит продащица в грязном халате.

— Крупы нет, мяса нет, — говорит Вовка, в точности повторяя мои мысли. — Что есть-то будем?

— Ну, хлеб-то есть! А может быть, его еще прибавят...

Мы выходим из булочной и нарываемся на удивительное зрелище. На углу Второй Красноармейской, посредине улицы, между зданием ЛИСИ и фабрикой игрушек, копошится толпа. Люди внаклонку что-то делают, движутся, что-то рвут друг у друга из рук, кричат, ругаются, бегают вокруг, пытаясь вклиниться в общую кучу сосредоточенных согбенных спин. Подбегаем. На мостовой валяется павшая лошадь, вернее ее красно-бурые останки, нелепо растопыренные ноги с копытами, распластаный темный хвост на булыге, коричневая морда с сильно выпученным глазом, а в середине месиво из людей, орудующих ножами. Люди толкают друг друга, поспешно засовывая отрезанные куски в кошелки. Руки у всех в красной жиже, глаза безумные. С криком «А ну, подвинься!» в толпу врзается мужичок в темном пиджаке и солдатской фуражке с топором в руках. Его пытаются оттолкнуть, но он, подняв топор над головой, с диким криком «Зарублю-у!» бросается в самую гущу снова. Народ шарахается, а он точными и хлестким ударами острого топора быстро выкраивает себе широкий кусок крупа и, молодцевато ухнув, закидывает добычу за плечо. Топор в руку, и он исчезает. Толпа снова смыкается над остатками туши.

— У тебя нож есть? — спрашивает Вовка. Я не успеваю ответить.

Сирена!

Гудки заводов...

Бьют зенитки.

Мы бежим в бомбоубежище на Первую Красноармейскую под нарастающий грохот и прячемся в подвале небольшого серого здания, в котором раньше помещался народный банк. В бомбоубежище неожиданно тепло, довольно чисто, горит свет, по зеленым стенам – жгуты электрокабеля, деревянные лавки, противопожарные щиты, плакаты с наставлениями, как вести себя при бомбежке, план эвакуации на случай завала здания. На лавках люди. Старушка вяжет на спицах серую варежку, рядом с ней семья: высокий седой мужчина, женщина в зеленом пальто, на коленях ребенок. Мужчин мало, в основном – женщины, старые, молодые, все с кошелками, сумками или узлами.

Вовка достает большой темный сухарь и начинает грызть его. У меня спазм в желудке. Отхожу к стенке и начинаю изучать плакаты. Потом возвращаюсь с одной мыслью: может, отломит? Сажусь рядом, молчу. Потом не выдерживаю и спрашиваю:

– Откуда сухарь-то?

– Отец дал. – Вовка спокойно отправляет остаток сухаря в рот и, дожевав, объясняет: – Отец – кровельщик. Буржуйки делает из кровельного железа. За буржуйки платят хлебом. А вчера дали десять сухарей.

Тикает метроном. Наверху еще, наверное, бомбят, но

здесь не слышно.

– Отбой воздушной тревоги... Говорит штаб местной противовоздушной обороны... Отбой...

Выходим на улицу. Что это? Вся улица, тротуары засыпаны белыми листками бумаги. Когда-то я видел что-то похожее... Когда встречали челюскинцев... Поднимаю листок. На нем фотография – улыбающиеся люди. Пригожая старушка, толстощекая женщина и кареглазый мальчик лет пяти. Сверху надпись: «Они хотят мира, они хотят жить!». Переворачиваю листок и с первых слов холодею от кошмарного, невозможного, неприемлемого смысла: «Кровавая сталинская власть принесла народу гибель и нищету. Красная Армия разбита. Победоносные немецкие войска полностью окружили Ленинград и готовятся к штурму Москвы. Граждане Ленинграда! В городе нет продовольствия! Сопротивление бесполезно! Уничтожайте политработников, коммунистов и евреев» Строки сливаются перед глазами. Фашистская сволочь! Я рву листки на мелкие клочки, поворачиваюсь к Вовке и вижу, что Вовка сгибает свою листовку пополам, потом вчетверо и бережно прячет в боковой карман.

– Вовка! Ты что?!

– Да так, – говорит Вовка, глядя в сторону. – Может, пригодится. – Ты посмотри, что там, в конце.

Я обалдело поднимаю другой листок. Немецкий орел держит в лапах кружок со свастикой. Под ним крупно: «Пропуск». Затем более мелким шрифтом: «Каждый, кто предъ-

явит пропуск немецким властям (каким властям?), получит трехразовое горячее питание и право на жизнь».

Я рву вторую листовку, третью... Но их кругом тысячи... Немецкий орел... Право на жизнь... Кровавая сталинская...

— Ну, я пошел, — говорит Вовка, поворачивается, и я вижу в последний раз его удаляющуюся спину. Он такой же, как всегда, маленький, крепкоголовый, с хорошими серыми глазами... Такой же, но уже совсем другой!

Господи! Ведь мы же с ним вместе вступали в пионеры, озорничали в классе, на перемене гоняли в футбол на школьном дворе, выпускали знаменитую классную газету «Заноза».

Он писал веселые и хорошие стихи... И листовка за пазухой.

«Уничтожайте коммунистов и евреев...»

Ноябрь

Вчера репродуктор объявил о новом уменьшении нормы хлеба. Двести пятьдесят граммов на рабочую карточку, сто двадцать пять — служащим, иждивенцам и детям.

Радио мы не выключаем никогда. Черный круглый репродуктор появился в тридцать пятом году. Помню, как я прилип к этому чуду: Хенкин читал Зощенко! Теперь это самая важная вещь в нашем доме. Оттуда мы черпаем всю информацию: ежедневные сводки Информбюро, сообщения

с фронтов, рассказы о подвигах наших летчиков, танкистов, разведчиков. Оттуда же часто звучит музыка, песни советских композиторов. Но самое главное, то, чего мы постоянно и напряженно ждем, – звук сирены и напряженный, нервный и торопящийся голос диктора: «Воздушная тревога! Воздушная тревога!». Как правило, эта фраза звучит трижды, а потом начинает лихорадочно стучать метроном. Его легкие, сухие и частые щелчки раздаются на протяжении всего воздушного полета вплоть до желанных слов диктора: «Отбой воздушной тревоги!». После отбоя метроном успокаивается и начинает щелкать в два раза реже, но звучит он круглосуточно.

Я ненавижу песню «Играй мой баян и скажи всем друзьям...», потому что существует какая-то фатальная закономерность: на каком-нибудь слогe этой песни обязательно прерывается звук, раздается знакомый щелчок и начинает выть сирена. За последние месяцы эту песню ни разу не успели исполнить до конца. Есть еще одна песня, вызывающая то же щемящее чувство – «На рейде ночном легла тишина...». Вот уже в который раз «тишина» заканчивается знакомым как зубная боль воем, и у нас начинается суматоха. Мы хватаем подготовленную мамой сумку с оставшимся хлебом, накидываем пальто и под звонкий лай разрывов зенитных снарядов скатываемся вниз по лестнице на первый этаж, где на лестничной клетке собираются и жмутся жильцы верхних этажей. Кроме нас тут Яковкины и жильцы из шестой квар-

тиры. У нас в доме нет бомбоубежища. Ближайшее – на Первой Красноармейской. Пока туда добежишь...

После того как мы впервые увидели руины дома на Пятой Красноармейской, мешанину из балок, кирпича, уцелевшую одинокую боковую стену с разноцветными прямоугольниками обоев каждого этажа и чудом прилепившуюся на выступе облома третьего этажа керосинку, мы решили, что оставаться наверху опаснее, чем быть внизу.

Сейчас мы все вместе сидим за обеденным столом при тусклом свете коптилки. Коптилку и небольшую черную буржуйку, которая стоит у нас на плите в кухне, купила Мирра на Сенном рынке. На ней мы кипятим воду или греем какую-то еду. Коптилка – медный цилиндр с припаянным к нему латунным конусом, из которого торчит фитилек, дает маленькое пламя с черным хвостом, высвечивая небольшой кружок на столе и пятна наших лиц. Мы ждем ужина.

Весь хлеб съеден с утра, дома холодрыга, но мы в радостном ожидании – мама готовит на кухне мучную кашу! Она сегодня была на Сенном, удачно сменяла скатерть на двести граммов хлеба и купила за двести пятьдесят рублей стакан белой муки. Это настоящая удача – белая мука и так недорого! Мы сидим за столом, а папа, прижавшись спиной к полутеплой печке, листает и читает вслух на горе нам и неведомо откуда появившуюся старинную поваренную книгу «Экономная кухарка». Книга эта стала его любимой. И вот уже в который раз он, сгорбившись над ней, поблескивая стек-

лышками пенсне, читает:

– Говядина под соусом из соленых рыжиков. Взять три фунта говядины, порезать тонкими кусочками, бросить в соленый кипяток, каждый кусок пересыпать тертым сыром, потом приготовить соус из сметаны и нашить маринрованными рыжиками... – Нет, это не то... Вот это интересно, это я ел на Украине: жареные битки из телятины... Кусок телятины мелко изрубить, положить сала, обсыпать сухариками...

– Папа, не надо, – вскидывается Мирра. – Невозможно слушать...

Папа замолкает на минуту. Пальцы его перелистывают несколько страниц, потом он оживленно восклицает:

– Вот, нашел! Пирожки малороссийские с творогом! Один фунт свежего творога...

Сирена. Воздушная тревога! Говорит штаб местной противовоздушной обороны... Мы хватаем пальто, дуем на копилку и выскакиваем на лестницу. Гулко отдаются в лестничном пролете звонкие разрывы зенитных снарядов. Где-то отдаленный грохот. Началось! Когда мы добегаем до первого этажа, там уже скопились темные тени – люди.

Вой, нарастающий вой, летящей где-то неподалеку бомбы. Бетонный пол под нами вздрагивает от тяжелого удара. Грохот заполняет лестничное пространство, рвет уши, вселяет ужас. Все мы инстинктивно пригибаемся к полу. Снова вой, снова грохот. Кто-то выскакивает на улицу и мы слы-

шим крик:

– ЛИСИ горит! Фугаска попала! Рядом!

Я выбегаю тоже под крик мамы:

– Осколки! Осколки же летят!

Зарево над институтом. От его отблесков ярко алеет стена дома четыре, это напротив. Там живет Миррина подруга Зоя Веревкина. Черные проемы окон в красном вздрагивающем свете, звон вылетевших стекол. Люди мечутся по улице. Темные силуэты пожарников института тянут черную нитку шланга, и тонкая розовая струя перекрещивает бушующее пламя. Под ногами хрустит стекло и темнеют рваные осколки зенитных снарядов. Мирра втаскивает меня назад на лестницу. Зенитки перестали бить. Гудение самолетов над головами прекратилось, из открытых настежь дверей слышен отбой.

Мы возвращаемся молча, подавленные. Папа обходит окна – все целы. Я чиркаю спичкой, и коптящий огонек высвечивает знакомый круг, за границами которого темнота.

– Таня, где же твоя каша? – вспоминает папа. – Сейчас она в самый раз.

Мама идет на кухню, и мы слышим ее жалобный вскрик. Бросаемся к ней. Она растерянно стоит около потухшей буржуйки с кастрюлькой в руках. В кастрюльке прозрачная водичка...

– Что такое? Ведь я засыпала полстакана. Помешала, она загустела, но не закипела... Потом тревога... И вот... Что

это?

– Где остальные полстакана? – спрашивает папа, разжигая еще теплую буржуйку. Мама еще раз наливает воду и высыпает остатки муки в нее. Мы все: Мирра, Ксения, папа, я – стоим вокруг и, затаив дыхание, ждем результата. Вода вскипает, белая густая масса бурлит и вдруг мгновенно становится прозрачной кипящей водой.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.